

НА АЛТАРЬ ПОБЕДЫ

Самоуничтожение неверия и истинные ценности жизни

Пионеры-герои... Их подвиг остался в истории Великой Отечественной, в благодарной памяти народа. Их образы и жизнь на многие годы стали основой школьного военно-патриотического воспитания. Но у всякой кампании есть обратная сторона... Нелегко найти компромисс между правдой войны и воспитательной героикой, между беллетризованными образами пионеров-героев и их трагическими судьбами. Перед современной школой стоит задача выработать взвешенный подход к этому святому для нас наследию.



Сергей Арутюнов,
член Союза
писателей РФ

Идеологическая работа в школах с середины 60-х до конца 70-х балансировала на тонкой струнке: с одной стороны, «развитой социализм» был уже как бы построен, с другой — уступка генерально прочерченному ленинизму скрадывала провал программы строительства коммунизма к 80-м годам.

Вера испарялась со скоростью эфира.

Да и многие не ждали уже этого хвалёного «коммунизма» с такой силой, как в горячечные 20-е. В обществе росло понимание: надёжнее не уместовать, а иметь дачку, участочек, не-роскошь-а-средство-передвижения, путёвку, а то и постоянный выезд хотя бы во второсортные соцстраны. По совокупности — умение жить с «чёрного хода». И вообще — слишком уж *гореть* не стоит, лучше эдак... тихушничать, крутиться, а там видно будет. Минуй, Чаша, а на наш век... С тем и выехали к *perestroike*, готовые урвать последнее у прижимистого и больше не грозного, как встарь, государства, и у соседа-разини, и у немощного старика, и у спящего в коляске ребёнка — такие же буржуазные, как и сто, и пятьсот лет тому назад.

Пионерия конца 70 — начала 80-х годов всё чаще довольствовалась ритуалами. «Работа», конечно, велась, но скорее в плоскости парадно-обязательных «мероприятий».

Поисковые отряды ещё восстанавливали имена погибших, писали письма родственникам, хранили архивы, но в основном — прыгали в длину спартакиады, чекали повороты в движении смотры строя и песни, выкрикивались удалые речёвки, от текста которых порой хотелось густо покраснеть. Верстались многокилометровые «монтажи» к славным годовщинам, сшитые наживую из классиков социалистического реализма, и проверенной, стонущей-изнемогающей интонацией разили галстучно-блузочные государственные чтецы дорогих шефов, восседавших в первых рядах во всём великолепии трудовых лысин и дамских сиренево-серых «вавилонских башен». Пели опрятно разряженные хоры, растягивая слово «качели», прекрасное далёко уже припахивало сытым духом...

В то же время на стыке официоза и искренней памяти о войне рождались шедевры массового искусства. Повести и фильмы о юношах, борющихся за память о фронтовиках, самые щемящие из них — «Зимородок» и «Минута молчания». И книги о пионерах-героях, получившие широкую популярность у школьников. В 79-м в продаже появились альбомы книг «Пионеры-герои» — алые папки с панорамными, полыхавшими разрывами вставками. Пошатнувшийся климат уверенности в избранном раз и навсегда пути снова заблагоухал озоном.



Святее военной темы не было и нет, и раскрыть её коллективом авторов и художников было задачей колоссальной. Тираж изданий — 300 000, в Москве иметь альбомы книжек в личном пользовании было обязанностью, их нужно было прочесть и усвоить к урокам внеклассного чтения или «нулевым», где в глухую зимнюю пору зачитывались передовицы из «Правды», а в минуты позвончее и повесеннее затевался разговор «о подвигах». Эти же книжки помещали под витринами школьных военных музеев экспонатами, рядом с касками и пожелтевшими военными документами.

Первый альбом задавал тон. Восемь книг формировали верховный пантеон: орлята — Леня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей, Витя Коробков, Валя Котик, Толя Шумов, Боря Цариков, Павлик Морозов. Имена запоминались с лёту, истории были динамичными, они захватывали. Маленькие супермены отважно гибли за свободу и независимость. Их пытали, их расстреливали, они воплощали вековую детскую мечту — мгновенно стать взрослыми. И показывали, чем за это надо платить. Но мы были слишком беззаботными в те годы, чтобы понять. У нас не отнимали последнего, напротив, нам по-прежнему обещали Рай.

Стилистика книжек изобиловала общеупотребительными пафосными инверсиями, они являлись органическим продолжением наших «Родных речей», опоздавших к нам лет на пятнадцать-тридцать, и одновременно расширяли рамки учебного текста. Читавшим Бокаччо и Мопассана изукрашенное картинками тридцатистраничие (норма на героя) казалось лубочным, но на большее книжки, кажется, и не претендовали. Патетика советской власти синтезировала особый язык, смесь псевдонародных сказаний и официоза, который мы отличали от будничной речи с первого выдоха.

Второй альбом был с Васей Коробко, Люсей Герасименко, Кычаном

Джакыповым (дублировалась коллективизационная тема, мальчик погибал от рук куркулей-басмачей), но гибель уже не педалировалась, была не обязательной, не такой роковой, как в первом альбоме, кому-то удавалось ускользнуть от неминуемого, вырваться за грань войны и — за что боролись! — доучиться в школах, пойти на заводы, возглавить цеха. О послевоенной жизни маленьких солдат не говорилось ни ползунка — величие бы неотвратимо пострадало. Их бытие намеренно обрывалось левитановским чеканом об именном награждении орденом или званием с присовокуплением строчки о названном в их честь корабле ВМС.

Как жить после подвига в толпе не узнающего тебя города, за который ты дрался, в родной ли деревушке за императорской капустой, книжки многозначительно молчали.

Поставь наше тогдашнее киношное руководство хоть один фильм, где современный пионер попадал бы в ту шкуру, пожалуй бы, и продрало бы нас, но... мы не верили в пионеров-героев. Они были для нас выдуманными. Нам не давали в руки ни лимонок, ни ППШ, мы не умели дёрнуть затвора со рокапаятки, ползти с планшетом по снежным склонам, минировать дороги, клеить листовки на обледенелые брёвна и особенно — молчать на допросах. Поскольку допросы вели не немцы, а свои. По трое, через стол.

В состоянии раздвоенности представить себе пионера-героя во плоти мог только отъявленный мечтатель, да и зачем? Они обошли нас в верности и отдалили себя от нас навсегда. Их смерть была зримым подтверждением того, что они не могли ни дорасти до нас, ни сказать ни слова. Пареньки и девчонки в ватниках, измазанных мазутом, подпоясанные вервием, в лохматых ушанках и кирзовых опорках были так же далеки от нашего полистирольного понимания, как ушитые гимнастёрки и пайка в домотканом платке с горкой жёлтого сахара сверху.

Война в общественном сознании неудержимо впадала в иронический контекст, сказывалась зримая разница в уровнях жизни победителей и побеждённых. Откат от пафоса был бы невозможен ещё с десятков лет назад, пока не заросли травой выжженные холмы, но в 80-х окопы сравнились с землёй, награды реже и реже находили героев, наступил критический порог восприятия, когда легче и естественнее забыть, отмахнуться, потому что мы проигрывали свою жизнь, катились в кювет, бравировали и фрондировали по-петушьи, — никто ни во что не верил.

Герои мешали. Грязные анекдоты о Зое совпали с сомнением по поводу Матросова не случайно: в любых гостях непременно патрон, солидный назначенец или выдвигенец с тоской в повидавших и находившихся глазах рассказывал, за сколько секунд перерубает тело немецкий пулемет МГ, приводил результаты экспертиз, не проникаясь временем, а брезгливо отталкиваясь от него. О нет, он лично не воевал, но знает. Неопровержимо.



Ещё вынимал собачку из ограды обелиска Олег Янковский в лирической комедии «совсем не о том», и уже вызревал где-то (дорого яичко!) сценарий фильма «Зеркало для героя», попытка примирить беспощадную молодость с прожившими наивную и жесточайшую пору... порку всех смыслов, кроме единственного. Ещё никто не смел валять по кочкам имена Гастелло, Талалихина, Покрышкина, Кожедуба, Мересьева — лётная иерархия сопрягалась с космической, а «эра» ещё не отгремела салютами, первыми были всё-таки мы, СССР, — не трогали Лизу Чайкину, ухмылялись лишь вслед затёртым журналам с чёрно-белыми напряжёнными лицами... и забывали, забывали, забывали.

Как бы внушительно ни вздымались брови наставниц-вожатых, как бы ни трескала указка по столу, мы веселились и на уроках мужества, когда ветеран сбивался с рассказа о боях на описание личных жилищно-бытовых условий и благодарил страну за грошовые праздничные заказы.

Образ фронтовика размывался между седуосым улыбчивым сержантом с плаката и архаически забритым ворчливым невротиком из промтоварного, вынимающего красную книжечку. Не крепкими мудрецами из «Белорусского вокзала», а нищими, жалкими и разгневанными (блокадник и контуженный звучало диагнозами) являлись они в нашу действительность из своего параллельного далёка. Узница Освенцима, приведённая во Дворец пионеров, была золотозубой тёткой с крепкой фигурой. Номер у нее стёрся, а простонародный говор подал молодым снобам лишний повод поржать. Чуть ли не единственная в стране лётчица-штурмовик восхитила, тем более что рассказывала без спеси. Она была знакомой худшего ученика в классе. Её слушало четыреста человек в затихшем зале.

И имена погибших (они-то не услышат) произносились с шакальным смехом, с мерцающе испуганным пониманием, что иначе нас снова пытаются надуть или, что ещё хуже, банально пристыдить. Стыдили тем, что мы не воевали, говорили, что мы-то обязательно струсим, потому что плохо учимся, плохо себя ведём, а настоящий герой... Одиозные фигурки представляли занудами, отличниками, в конечном счёте чокнутыми. Давай-давай, под танк и с песней. Нормальные герои? В обход!

В «умнеющие эпохи» никаких тайн нет, как нет и не было никогда флибустьеров и карибских морей.

Военно-патриотическое воспитание... Синекура заслуженных учителей республиканского значения... Что творили? Это мог быть поход по местам неизвестно чьей боевой славы, с многократно виденным барочно-ампирным, казённым памятником у проезжей платформы и одинаковыми фамилиями на нём, это могла быть линейка вместо урока математики, где сперва переминаешься с ноги на ногу, а потом строем идёшь обратно, и опять не понимаешь, зачем были торжествующие

слова, когда вокруг зима, серо, обыденно. А наши «Зарницы»? Лазание по лабиринту с муляжом «калаша», на тошнотворно полумягких креплениях, да ещё на время, чёртово секундомерное время... А подвиг?

...Третий альбом был уже совсем не массовым и содержал мало кому запомнившиеся имена. Там, помнится, был мальчик-матрос, заткнувший коллектор грудью, ещё какая-то девочка... Юта Бондаровская, Галя Комлева, Костя Кравчук, Лара Михеенко, Саша Бородулин, Витя Хоменко, Володя Казначеев, Надя Богданова, Валя Зенкина, Нина Куковерова, Аркадий Каманин, Лида Вашкевич.

На излёте серии сюжеты были скорее интригующими, чем ужасающими. Вася Коробко сначала прячет от оккупантов отрядное знамя, потом подпиливает мост, по которому должен проехать немецкий транспорт... Весело, по-пионерски. Нам же все уши прожужжали, что пионеры весёлые и дружные. Васёк Трубачёв сотоварищи был словно военной итерацией гайдаровского Тимура. Правильные во всём, нашедшие себя навсегда без томных учительских нотаций, геройские дети надменно взирали на нас через тридцать лет мира.

Если б не художник Юдин, профессионал высшей пробы, оформивший серию, она бы и не пошла вразнос так азартно, как мы менялись книжками на переменах. Оформитель словно бы заострил лучи отёкшей от праздности звезды на наших проржавевших воротах. Воюющая страна представляла не гротескной, а подлинной, в зареве неведомых боёв, окровавленной и беспощадной.

Забавно, что все три серии были только у отличниц. Точно существовал незримый блат, черта, к которой так привыкли, — доступ к любым знаниям персонифицировался в зависимости от прослойки. Инженер мог отстоять за дефицитом номерную уличную очередь и купить, начальник автобазы мог позвонить директору магазина и поймать



за хвост тайную очередь, а уж академик выписывал книги, ставя галочки в принесённом на дом списке свежевыходящих изданий. Дополнением к пионерам были квадратные крохотульки под названием «Октябрята-герои». Хорошо помню девочку-героя, которая пришла во второй класс, увешанная медалями. Пик героизма, на мой взгляд, — вот так начинать десятилетку. Повскакавшая с парт ребятня на заключительном рисунке отражала и наш восторг. Мы были воспитаны на генсековских наградах и уважали их.

В отличие от запутанной истории краснодонцев, которую не раз переделывал Фадеев, истории пионеров-героев прошли меньший идеологический пресс инструкторов ЦК и были выпущены после того, как параноидальный страх вождя перед любым политическим шпионажем был спущен в клоаку истории. Целью было наставить, научить любви к Родине, без которой и т.д., но авторов неудержимо кидало в примитивный оскал листовок. Они были талантливы! Фразы вырезывались упругими и литыми, по одной мог запомнить каждый дурак. Горела земля, плавилась камни. Леонид Ильич Брежнев. Малая Земля.

А правда, как всегда, оказалась суровой прозой. Замкнулась в себе, чтобы её не поганили поверхностной поэтикой: дети, оказавшиеся на оккупированной территории, были вынуждены вступить в борьбу с фашистами не потому, что их обработали «органы», а потому, что их родителей зверски убили. Расстреливали коммунистов, евреев, директоров заводов, хозработников, мало-мальски значимое советское чиновничество, стариков, не сумевших понять окрик, старух, кинувшихся за уносимой курицей или уводимой коровой, — всех ждала короткая очередь, взметнувшаяся пыль, кудахтанье, скрип, боль и — темнота.

Пионеры становились народными мстителями, у них были личные мотивы,

разрывающая боль толкала их на такие поступки и дела, что за их головы назначали больше, чем за партизанских батянь, направлявших их. Нередко малыши дрались в одиночку, без всякого согласования с «центром».

Для нацистов они были не только жуткими ночными врагами, но и скотом, который забивали без эмоций, без гнева, а потому, что он бунтует. Или собирается. Не даёт млека-яйки, например. Или партизанен. Хальт! Ахтунг-фойер!

Но в 80-м было не принято обобщать. Учителя не могли сказать, почему вывели в расход Мусю Пинкензона. Потому что он был еврей, классический еврейский мальчик со скрипкой. И сыграть перед смертью (смысл подвига) он мог только Интернационал, а не Хаву-Нагилу, потому что протестовать против фашизма мог только так. Это — опускалось.

Институт «сыновей полка» (катаевский термин), не приземлемый ни в одной из «цивилизованных» армий мира, являлся в нас и в серии законным и утверждённым самой жизнью так же, как французское Соппротивление на подбор состояло из кудрявых и тонкоусых черноберетных Пьеро, держащих на коленях игрушечные складные автоматы.

После награждения всесоюзным старостой Калининским пионеров-героев, может, и старались отправить в тыл, но отчего-то они снова оказывались в землянках с горящими гильзами вместо ламп, спали на нарах, шли в разведку, по явкам и погибали в гестапо или прямо на поле боя, израсходовав последний патрон или гранату. Отчего?

Учителя снова и снова не могли объяснить нам, что война велась не на идеологическое, а на прямое физическое уничтожение граждан СССР, на смертный бой, из которого могли выйти либо вместе, либо не выйти вообще. Что оружие взяли все, что вот это самое «всё», которое для фронта и для победы, ковали кровью всех, и даже самых маленьких. На нас напали не только потому, что мы были коммунистами, а потому, что нужны были наши земли, и эту почти внеидеологическую постановку вопроса схема отвергала истоиво.

Высшая стадия империализма — нацизм — был бунтом штопаного-перештопаного Запада против навязанной буржуазной скуки, и именно такие идейно близкие нанесли нам же наибольший ущерб. Диалектика?

Здесь учителей словно дистанционно затыкали. Быть даже мыслящим тростником им мешали «инструкции по ведению урока», сама постановка темы, разрабатываемая пафосными методистами, бездарность которых очевидилась ещё тогда: начинался мутный, пыльный, дикий Афган, где статусы «развитого социализма» заработали на полную мощь.

Мы уже были в курсе, что туда попадают пэтэушники, что от армии лучше «косить», что есть лишь одна дорога жизни — институт, и больше никакой. И писали, писали, писали проклятушки «экзаменационные билеты». Война задевала нас не тимуровскими набегами на стариковские квартиры, но пес-



нями. Стыдиться себя, «тепличных условий», на которые нам постоянно пеняли, мы отвыкли. Набили мозоль. Надоело выслушивать, что мы отпетые разгильдяи и тупицы. «Методы» себя исчерпали. Ибо лица наших учителей редко полыхали верой...

Сороковые роковые стали окончательным мифом именно в результате «идеологической работы». Словно линзой, трудившейся на укрупнение, был раздут в размерах и закрыт чувственному пониманию ошеломляющий быт войны — заострённая, наподобие вил, василь-быковская голодная партизанщина, беспощадная дубина народного гнева, не считавшая ни убитых, ни раненых. Разберутся, там — разберутся. На небе разберутся, кто свой.

Невозможно было простыми словами сказать, что советская война была в том числе войной русских с русскими за своё представление о Рае, Небесной России и в конечном счёте, как всегда, о смысле бытия. Советская война отлична от европейских и даже азиатских предельным напряжением сил, пленные или вообще какое-то там международное «право» и «женевские конвенции» — понятие весьма относительное, да нас они никогда особенно и не касались. Жизнь изначально перестаёт быть истинной ценностью, когда в нашей части света приводятся в действие громадные шестерни, размалывающие кости народов.

Нам говорили, что войны бывают горячие и холодные. И мы, курам на смех, пассивно-посильно готовились принять участие в горячей. Хотелось, конечно, явиться в класс после летних каникул с орденом за разоблачение подводного шпиона... Пионерия своим нажимом развивала шпиономанию, по-нукала беспрестанно за кем-то следить, переписывать номера подозрительных машин (а вдруг?!), провидеть заговоры и кидать в пьяниц бутылками из-под «Байкала». Мы хотели быть героями, но становились завсегдатаями вечно раскуроченных строительных пустырей, где заунывно были одичавшие жучки и окаменело лежали стёртые покрышки. Лозунги «Борьба за мир», «Слава КПСС» и вовсе стали необъяснимым оксюмороном. За океаном, если верить телевидению (камера смотрит в мир недовыбитым глазом), весельчаки-бородачи лазили по джунглям, мальчишки-палестинцы кидали камнями по израильской военщине, европейцы выходили на площади с плакатами «No bomb!», мир кипел и бурлил... Окраинное сознание вторглось в нас задолго до того, как мы стали думать о том, кто мы такие.

Мы хотели быть патриотами, чтобы никто не сомневался, что мы патриоты. То есть купить чтением безупречных книжек относительный покой на пороге крушения. И продешевили. Мы не хотели сомневаться в частности, а в итоге засомнева-

лись во всём. Даже в избранном прадедами пути, который немедленно выскользнул из-под ног. Может, нам опротивело запустение?

В начале третьего тысячелетия словосочетание «пионер-герой» употребляется в таких контекстах, что ни пером, а гаубицей: могилу Володи Дубинина, выжившего в керченских каменоломнях, вскрыл какой-то шукарь и обнаружил, что скелет не соответствует. Подумать только: из-за этой детали все мальчики и девочки из когорты объявлены «карликами-диверсантами».

Такого рода самоуничтожение и есть национальное самоуничтожение.

«Грандиозная пиар-акция Берии»...

Эпоха неверия ненавидит героизм и патетику люто. Не было! нет! ложь! — тотчас же начинают орать бытовики, завладевшие новой бюргерской застольной культурой. И войны не было, потому что не нужно, ничего не нужно, — живи без памяти, тараканом и умри от просвистевшего тапка, ибо всё тщетно. Бессмысленно...

Некогда в первой половине февраля был специальный праздник, День юного героя-антифашиста. Сейчас слово «фашист» многим школьникам кажется романтически привлекательным, а из нового списка выходных удалили даже 7 Ноября. Страна больше не властна над своей историей. Герои молодых — скины, толпой убивающие негра. Энбэпэшники, кидающиеся яйцами в беспомощно скалящегося премьера. Гринписовские проделки...

Русская смута длится.

А русские герои остаются теми же. Они отличны от иных прочих тем, что не присоединяют земель и не срываются к чёрту на рога за кладами, а жертвуют. **Жертвуют бескорыстно и безвозвратно. Чаще всего — самым дорогим. И это их свойство надо бы вспомнить, когда смута закончится. НО**